

Владимир Большаков.

Государство из одного человека

Поистине нелегко писать о человеке таких планетарных масштабов, как Александр Александрович Зиновьев. Всемирно признанный писатель, социолог, философ, логик, художник и поэт, он не вписывается ни в какие рамки и стереотипы. Как-то в разговоре со мной он бросил такую фразу: «Обо мне написали уже два десятка книг, но все они таковы, что я в них себя не узнаю, ибо суть моего творчества в них пропадает...». Зиновьев — глыба. У критиков на него не хватает ни словаря, ни знаний. Когда будут издавать полное собрание его сочинений, а рано или поздно оно непременно появится, потребуются целый научный коллектив, в который, как в авторский коллектив энциклопедии, войдут самые разные специалисты — от литературоведа до физика. Зиновьев — последний энциклопедист XX века. Для него его творчество цельно и не может быть разложено по полочкам искусств и наук. Мы знаем названия десятков его книг. Но для него все это — одна книга, так же, как для Бальзака одной книгой была многотомная «Человеческая комедия». Во многом деление его трудов на литературные произведения и научные — условно.

Понять творчество Зиновьева трудно для тех, кто не знаком с советской действительностью. Может быть, именно поэтому многие на Западе воспринимали его прозу, его Ибанск из «Зияющих высот» так же, как не знавшие ничего об Англии люди воспринимали Лапуту Свифта, а те, кто не имел никакого представления о Китае, — Кошачий город Лао Шэ. И хотя великая литература никак не может быть безотрывно привязана к географическим и историческим координатам, что доказывают и лучшие книги Зиновьева, знать эти координаты надо.

...Дело было в Ницце, осенью 1989 года. Шел там «международный конгресс по дезинформации». Меня пригласили в нем поучаствовать, как корреспондента «Правды» во Франции, а по предназначению — как мальчика для битья: конгресс был создан французскими правыми, а уж если быть точнее, очень правыми организациями. Меня, однако, быстро оставили в покое, едва я признал, что «Правда» не всегда печатала правду. Особой смелости для такого заявления в те годы, отмечу, уже не требовалось. Но в той антикоммунистической глубинке такое было внове.

В зале было скучно, ораторы занудно пугали друг друга происками коммунизма в новом горбачевском обличье. То, что генеральный секретарь КПСС был гораздо ближе по духу к ним, чем к своим предшественникам на этом посту, они бы никогда не поверили. Я вышел в холл. И увидел Александра Зиновьева. Незадолго до этого он выступал на конгрессе. Речь его

встретили холодно: Зиновьев прогноз о неизбежной гибели коммунизма отверг. «Он не погибнет, — сказал он, — а возродится, даже если сторит в огне перестройки».

Я исподволь наблюдал за ним, размышляя, кто он, этот человек? Как получилось, что столь крупный русский философ и писатель с явным талантом от Бога с коммунистами в СССР не поладил, да и с Западом, судя по его выступлению, тоже не слился.

Вспомнилось, как он говорил в одном интервью: «Даже после того, как при Брежневле меня выслали из Советского Союза и я стал жить на Западе, мне не удалось вырваться из обстановки ложных слухов и клеветы. Меня зачисляли в антисемиты и сионисты, в русофобы и прусские шовинисты, в коммунисты и антикоммунисты... Я ни то, ни другое, и ни прочее. Моя позиция такова: я — самостоятельное государство из одного человека, я никому не служу, не следую ни за кем...»

Как узнаешь, чего больше было в этом заявлении — оборонительного высокомерия непонятого и оскорбленного интеллектуала или отчаяния от непонимания?

К моменту нашей встречи ему исполнилось 68 лет, из которых 12 лет он уже прожил на Западе, так ни разу и не вернувшись в СССР после изгнания. У него за спиной помимо самого значительного его романа «Зияющие высоты» уже были десятки книг, сотни статей, выдающиеся научные работы по математической логике, философии, истории, социологии...

Что-то там творится, в этом государстве из одного человека? Как получить туда визу мне, корреспонденту «Правды»?

Я все же рискнул и представился ему. И с «визой» в один миг все решилось. Мы шли вдоль моря, и я с разрешения Зиновьева записывал наш разговор на пленку. Я сам не ожидал еще, что из этого когда-нибудь получится интервью, которое потом, во что по тем временам и поверить было невозможно, все же будет опубликовано в нашей суперпартийной газете. Но времена менялись. И Горбачев лично привел в «Правду» на пост главного редактора своего помощника Ивана Фролова, который был выписан Зиновьевым в «Зияющих высотах» под кличкой Претендент. Претендент на этом интервью сидел недели две. Потом все же, спасибо ему на том, опубликовал.

После этого мы не раз встречались с Зиновьевым и говорили часами. Удовольствие с ним беседовать ни с чем не сравнимо, разве что с поединком на шпагах. И, признаюсь, я всегда старался как можно дольше продлить поединок.

Но первое интервью все же — как первая любовь. С него протянулась между нами уже неразрывная ниточка. Тогда, на французском Лазурном берегу, я впервые услышал от него рассказ о том, как родились «Зияющие высоты»:

— Я очень плодотворно работал в области логики, — рассказывал Зиновьев. — Мои книги издавались за рубежом. По подсчетам некоторых социологов, я держал первое место среди советских философов по числу ссылок на мои работы на Западе. Я получал приглашения на все международные конгрессы, причем персональные. Но я никогда на них не ездил, меня не пускали.

Как я потом узнал, даже люди, довольно мне близкие, писали на меня доносы, утверждали, что я хочу остаться на Западе.

Кончилось тем, что я потерял студентов, аспирантов. Меня перестали печатать в Советском Союзе и допускать на научные конференции.

— Чему были посвящены ваши исследования? — спросил я, извинившись за свою неосведомленность.

— Я перестроил всю логику. Ну, в частности, я построил эмпирическую геометрию, в которой доказал постулат Эвклида о параллельных. Потом я построил мою формальную арифметику, и в ней доказал недоказуемость великой теоремы Ферма. А это — проблема, которую не могли решить более 400 лет. Я ее решил. Я настаиваю на этом. И могу это доказать. Но все

отмахиваются. Слишком много, считают, для одного человека. Это всеща вызывало раздражение...

— Значит, главной движущей силой кампании против вас была зависть? Зависть ваших коллег?

— Я не знаю. Они думали, может быть, что воюют за интересы науки. Я не хочу их судить. Но так получилось, что я оказался не у дел.

— И тогда настала пора «Зияющих высот»?

— Не сразу. В 1973 году я написал эссе о скульпторе Эрнсте Неизвестном. Потом отрывки из него я использовал в «Зияющих высотах».

— Когда вы закончили над ними работу?

— Я написал эту книгу за шесть месяцев с небольшими перерывами в 1974—1975 году.

— А как она попала на Запад?

— По неосторожности ряда моих друзей в соответствующих органах узнали, что я что-то такое пишу, и за мной установили надзор. Время было тоща такое, не очень приятное. Писал я книгу быстро и по кускам отдавал ее моим друзьям, а они уже пересылали написанное на Запад. Поначалу я печатать ее не собирался. Но в 1976 году мне сказали, что есть издатель, который хочет ее напечатать, и спросили, не буду ли я возражать. Мы с женой моей Ольгой целую ночь не спали, думали, как быть, взвешивали все «за» и «против». Меня Ольга тогда спросила, смогу ли я спокойно жить, если книга останется ненапечатанной. Я сказал нет, теперь я уже ею болен. И еще она спросила — считаю ли я, что нанесу своей стране ущерб этой книгой. Я сказал нет, не считаю. Пройдут годы и люди поймут, что это надо было сделать.

...Прошли годы. Через двадцать с лишним лет Зиновьев с Ольгой вернулись из эмиграции на Родину. «Зияющие высоты» из списков «запрещенной литературы» перешли в золотой список мировой классики. Но тоща каждая строчка этого романа напоминала порох, готовый в любой момент взорваться от неосторожного обращения и погубить автора. За рукописью романа охотились не любители, а профессионалы высокого класса (кстати, потом, уже за границей — они же охотились за самим автором). И неспроста.

Прочитайте вот эти строки из «Зияющих высот», действие в которых происходит в городе Ибанске (не простое название, а один из многочисленных примеров того, сколь блестяще владеет Зиновьев русским языком — ведь этот образ целиком воспринять может только русский!):

«...Ибанцы, обливаясь горючими слезами, наконец-то проводили в долгожданный последний путь Хозяина и наспех прикрыли кто чем мог свои разукрашенные шрамами и синякам голые зады, теоретически подготовленные для очередной всеобщей порки. Ожидаемая порка к великому огорчению ибанцев не состоялась, и они в ужасе предались робкому ликованию. Мыслитель обозвал всех трусами, как они того и заслуживали, и сократил число цитат из Хозяина вдвое. Социолог вместо обычного «самый гениальный сверхгений из всех гениальнейших гениев» употребил сильно ослабленный титул «величайший гений». Ничего не произошло и на этот раз. И Социолог опять уехал за границу. Никого не брали.

Вернувшегося из небытия Клеветника с перепугу назначили чем-то заведовать. Воспользовавшись кратким замешательством, он изловчился напечатать малюсенькую книжонку о чем-то таком, о чем писать было еще рано тогда и стало уже поздно потом. В книжонке он все искажил, а остальное изложил неправильно. Вышестоящее начальство, которое после упомянутого радостного трагического события стало еще более вышестоящим и радикально изменило точку зрения, публично заявило по адресу Клеветника, что как волка ни корми, он все равно смотрит в лес, и разослало закрытое письмо о том, что горбатого могила исправит. Клеветника тут же освободили от обременительного заведования и хотели выслать обратно из

Ибанска, как бездельника. Но время было уже не то... На горизонте Истории Ибанска уже маячила колоритная фигура Хряка. В одной руке фигура держала маленький кукурузный початок, не достигший молочно-восковой степени зрелости, а другой делала большой кукиш. Одна нога у фигуры была босая. Фигура громко икала и бормотала лозунги: «НОНИШНОЕ ПАКАЛЕНИЕ, ТВОЮ МАТЬ, БУДИТ ЖИТЬ ПРИ ПОЛНОМ ИЗМЕ». Посмотрев в сторону абстракционистов, фигура погрозила им пальцем...»

Ну, нужно ли было расшифровывать советскому человеку, что Хозяин — это Сталин, а Хряк — Хрущев?! И в интеллигентской среде весьма узнаваемыми были и Мыслитель, и Социолог, и Философ, и Клеветник, и Академик, и Мазила, и Болтун, и Художник, и Журналист, как и все другие блестящие персонажи из Ибанска, града Глупова второй половины XX века...

После того как книга была напечатана в 1976 году в издательстве «L'Age de l'Homme», Зиновьев потерял работу. «Мы жили, — вспоминает он, — без средств, продавали книги, вещи. Нам, правда, помогали. Например, академик Капица-старший, которому очень понравилась книга. Да и другие. Я подрабатывал, редактировал чужие диссертации. Ни о какой эмиграции и речи тогда не было. Но в 1978 году на Западе вышла вторая моя книга «Светлое будущее», где прямо по имени был назван Брежнев. И описан он был в довольно сатирическом виде. После этого, как мне говорили, для меня было приготовлено два сценария. Первый — посадить за антисоветскую деятельность на семь лет с последующей высылкой еще на пять. И второй — не поднимать шума и меня выслать. Короче говоря, нам в конце концов и предложили в течение пяти дней выехать из страны. В противном случае пошел бы в ход первый сценарий...»

Зиновьевы не хотели уезжать. До последней минуты они ждали, что решение отменят. «Я прожил жизнь вместе со всей советской историей и не собирался от нее отречься. Я был не просто советским человеком, я был суперсоветским. И для меня покинуть страну в 56 лет, — говорил мне Александр Александрович, — было невероятно тяжело. Я начинал понимать, почему при Ленине даже смертная казнь считалась более легким наказанием, чем высылка...»

В СССР его роман держали под строжайшим запретом, но все же, не будь «Светлого будущего», к «Высотам» тогдашние власти не смогли бы придаться без того, чтобы не выставить себя на всемирное посмешище. Им было выгоднее согласиться с Зиновьевым в том, что «Ибанск есть никем не населенный населенный пункт, которого нет в действительности. А если бы он даже случайно был, он был бы чистым вымыслом». Конечно, церберы от идеологии понимали, что социологический анализ советской системы в «Зияющих высотах» — далеко не невинное сочинительство. Один из героев романа Болтун в главке «На овощной базе» говорит:

«У нас легче построить атомный реактор, чем хорошее хранилище для картошки. Легче подготовить десять тысяч докторов наук по теории картошки, чем десяток толковых кладовщиков по этой самой реальной картошке». А Зиновьев как раз и объяснял, почему так получается.

На Западе мало кто воспринял «Зияющие высоты» адекватно. Роман поспешно занесли в библиотеку антикоммунистической литературы, а автора — в антикоммунисты, но поторопились и с тем, и с другим. В аэропорту Франкфурта его встретили словами: «Приветствуем вас в царстве свободы!» Зиновьев тут же ответил: «А я не рассматриваю Запад, как царство свободы. Да и в Советском Союзе я был свободным человеком».

Немедленно появились статьи в русской эмигрантской печати под такими вот заголовками: «Зиновьев обнажил свое лицо», «Зиновьев — советский агент», «Господин Зиновьев, какой у вас ранг в КГБ?». Распустили даже слух, что настоящего Зиновьева гноят в ГУЛАГе, а вместо него на Запад послали полковника КГБ, подмененного!

Зиновьевы поселились в Мюнхене. С этим городом связаны почти 20 лет их жизни на чужбине. «К жизни на Западе, — вспоминает Зиновьев, — мы привыкали трудно. Первые четыре года провели едва ли не в шоковом состоянии». Парадокс, но самый острый критик советской системы тосковал по советскому образу жизни. Один из героев его повести «Гомо советикус» так излагает настроения советского эмигранта, оказавшегося на Западе. Во многом они отражают настроения и самого Зиновьева того первого четырехлетнего периода его жизни в Германии: «Я почти не переживаю потерю родственников и друзей, московской квартиры... Но мне ни днем ни ночью не дает покоя то, что я потерял коллектив... Любой какой-то наш (мой) коллектив.

Здесь, на Западе, есть организации, которые очень похожи на советские коллективы, но... они не дают той защищенности индивиду и душевной теплоты, какие есть в советских. Здесь корыстные интересы сильнее и острее. Люди холоднее и беспощаднее. Это звучит комично, но тут нет партийной организации — высшей формы внутриколлективной демократии. Хочу посидеть на партийном собрании. На субботник хочу. Я готов даже на овощную базу поработать сходить и в колхоз на уборку поехать...»

«Odi et amo!» («Люблю и ненавижу!»). Диалектика восприятия среды обитания у Зиновьева та же, что и у древнеримского поэта.

«Это, в общем, нормально, — сказал Зиновьев, когда я процитировал ему это изречение двухтысячелетней давности. — Русские писатели-сатирики прошлого века жесточайшим образом критиковали свою социальную среду. Но никто из них на этом основании от Родины, да и от этой среды не отказывался. Я родился после революции и вырос в Советской России. Я вырос на лучших идеалах коммунизма и лучших идеалах революции, получил образование, которым я очень дорожу. В него вошло все лучшее, что создавало человечество в прошлом. По крайней мере дня нас отбиралось все лучшее. Это — моя нормальная среда обитания. И я стал жесточайшим ее критиком именно в силу этого. Представьте, что у меня родился бы, не дай Бог, ребенок с дефектами. Я что, на этом основании выбросил бы его за дверь? Нет, конечно. Более того, наверное, стал бы еще больше его любить. И есть еще одна тонкость. Я очень рано понял, что с такими идеалами и с таким мировоззрением я мог появиться только в этом обществе. Моя жизнь была очень тяжелой. Но я не хотел бы поменять ее на другую, мою страшно трудную, кошмарную жизнь...»

— Кстати о «лучших идеалах», — спрашиваю я. — Были ли они хоть частично реализованы в советской практике?

— Я не рассматриваю советское общество, как отступление от идеалов и, как социолог, утверждаю, что другого и быть не могло. Это нормально. Это общество сложилось по законам организации масс людей в единое целое. Оно сложилось не на основе идей, а независимо от идей. Советское общество складывалось по законам, о которых ни Маркс, ни Энгельс, ни Ленин никогда не думали. И советские идеологи никогда не думали. Я был первым, кто начал эти законы абстрагировать...

Западные советологи сразу же обратили на это внимание.

Крупнейший французский философ Раймон Арон сказал, прочитав книгу Зиновьева «Коммунизм как реальность», что это — «первая научная книга о коммунизме». За эту книгу Зиновьев получил премию имени Токвиля. Зиновьев был в восторге — Токвиль был одним из его любимейших авторов.

«Я люблю Токвиля, — говорил он, — потому что сам по натуре сатирик. Это мое литературное амплуа, мое призвание. И это мало кому нравится. Ведь я не даю пощады ни друзьям, ни врагам. Ни консерваторам, ни реформаторам. Ни оппозиционерам, ни защитникам власти.

Это — закон жанра. Я не рожден для власти, а рожден для ее критики. Хотя критика власти — это еще не есть неприятие власти. Возьмите все произведения Салтыкова-Щедрина, Достоевского, Грибоедова, А. К. Толстого... Вы не найдете ни одного крупного русского писателя, у которого не было бы критического отношения к власти. Но это не означает, что они все были анархистами либо сознательными разрушителями государства. Достоевский, например, дружил с Победоносцевым. Салтыков-Щедрин был вице-губернатором. Да даже Пушкин был придворным. Жизнь сложнее штампов. И история нашей страны, особенно ее последних 80 лет, показывает весьма убедительно, что не критика вредит обществу, а нетерпимость к ней...»

В своих книгах Зиновьев, анализируя сущность коммунизма, показывает, что возникает эта нетерпимость, в первую очередь, в силу законов коммунальности. «Существуют коммунальные отношения между людьми в больших коллективах, — поясняет он. — Это явление естественное. Но столь же естественной должна стать и борьба против этого. В конце концов вся история цивилизации была историей ограничения стихии коммунальности...»

То «государство из одного человека», которое провозгласил в самом себе Зиновьев, не раз становилось объектом идеологических агрессий против него в советские времена. Зиновьева обвиняли в пропаганде мелкобуржуазного нигилизма, индивидуализма и во всех прочих интеллигентских грехах. По тем временам инакомыслие считалось смертным грехом и гуманистическая суть зиновьевского «государства» не была признана. Зиновьев действительно провозглашал право интеллигенции на критику властей, однако был и оставался патриотом России и понимал, что суловские приказы по армии искусств, всеобщая нетерпимость партократии к интеллигенции могут привести к краху и Советскую власть и Советский Союз. Так и случилось — те люди, которые отправили Зиновьева в изгнание, проиграли не горячую, а холодную войну, не военную кампанию, а идеологическую битву. Но в мире все взаимосвязано. И интеллигенция, которая способствовала так или иначе, как и сам Зиновьев, краху СССР, оказалась сама на грани исчезновения в посткоммунистической России. Зиновьев предупредил об этом в «Высотах»:

«Интеллигентность есть способность общества к самопознанию своей собственной сути, воплощаемая в его духовном творчестве и охраняемая определенной социальной средой. Поэтому-то интеллигентность общества определяется (и измеряется) числом и масштабами личностей, реализующих это... Интеллигентность критична и оппозиционна по самой своей функции в обществе. Это ее неотъемлемое качество. Не бывает интеллигентной апологетики.

Интеллигенция — самая трудновыращиваемая ткань общества. Ее легче всего разрушить. Ее невероятно трудно восстановить. Она нуждается в постоянной защите. Чтобы ее уничтожить, на нее даже не надо нападать. Достаточно ее не охранять. И общество само ее уничтожит...»

* * *

Зиновьева охотно издавали на Западе. В основном издательства, известные своей антикоммунистической ориентацией. Среди его почитателей был даже сам генерал Пиночет. Зиновьев ездил по его приглашению в Чили. Уже в силу этого левые на Западе его не жаловали. С началом перестройки в СССР Зиновьев на какое-то время стал одновременно и кумиром российских правых реформаторов, и коммунистов-антигорбачевцев. Не последнюю роль сыграла в этом «Катастрожка», вызвавшая в горбачевском окружении примерно такую же реакцию, что и «Светлое будущее» в окружении Брежнева. Горбачев тоже в этом памфлете был назван прямо по имени. Еще большую неприязнь к Зиновьеву вызвало «Евангелие для Ивана», в котором он высмеял антиалкогольную кампанию Горбачева. «Катастрожка» стала бестселлером. А ее автор подвергся атакам и справа, и слева одновременно.

Маленькая квартира Зиновьевых на Савитцштрассе в Мюнхене, которую советские граждане с загранпаспортом прежде обходили стороной, стала объектом паломничества. Кто там только ни побывал! Поддержки Зиновьева, его авторитета добивались эмиссары едва ли не всех политических партий России. Опубликованный в «Правде» рассказ Зиновьева о том, как в школьные годы он вместе со школьными товарищами готовил покушение на Сталина во время Первомайского парада, о том, как его арестовали тогда и как он скрывался после побега от преследований НКВД, был перепечатан (часто без всякой ссылки) во многих российских газетах. Зиновьев, однако, не торопился вставать ни под красные знамена необольшевиков, ни под ельцинский триколор. Он не был ни левым, ни правым. Он был объективным. Когда я показал ему статью в одной из газет, где говорилось, что «Катастрожка» — еще одна иллюстрация того, что «Октябрь 1917 был ошибкой», а все, что было потом, — «черным провалом», Александр Александрович отреагировал на это так: «Я вовсе не считаю, что в нашей истории было только плохое. Было и немало хорошего. Коммунизм просуществовал лишь 70 с небольшим лет. Западная цивилизация существует много столетий. Мы с вами не можем предвидеть, что будет через 500—600 лет. Пока я могу сказать только, что о реальных возможностях коммунизма судить рано.

Историческое время — это не жизнь отдельного поколения. Историческое время — это столетия и тысячелетия. К сожалению, за жизнь одного поколения мало что можно сделать.

Я категорически протестую против того, чтобы нашу историю рассматривать как черный провал, подобно тому, как это делает историк Юрий Афанасьев. Он утверждает, что советское общество — это вообще пример тупикового развития. Я считаю, что это абсурд. Стопроцентный абсурд со всех точек зрения. Наша система возникла не по злему умыслу «горстки евреев», как утверждали антикоммунисты 20—30 годов и как бездумно повторяют сегодня то же самое некоторые их последователи, а закономерно. Это — не черный провал. Советская история — тяжелая, трагическая, страшная, но грандиозная. Не все в ней было злом. Были и великие достижения. Люди еще не оценили их по достоинству. Но это придет с годами...».

Слова эти датированы июнем 1991 года. Пройдет всего несколько лет, и примерно то же самое о советской истории скажет Борис Ельцин. Это не означает, что Зиновьев убедил Ельцина в своей правоте. Точно так же, как и Ельцин не убедил Зиновьева во время их знаменитых дебатов по второму каналу французского телевидения в декабре 1990 года в том, что с приходом его, Ельцина, к власти Россия познает небывалое процветание и благоденствие. Зиновьев и здесь оказался прав, когда говорил, что, придя к власти, Ельцин забудет популистские лозунги, станет действовать по законам власти. Так оно и случилось.

* * *

Зиновьев — мастер столь же жесткого, сколько и точного прогноза. К литературе он пришел почти одновременно с завершением своей социологической теории коммунизма. Была проделана огромная работа. Создан гигантский научный аппарат. В истории литературы не было такого прецедента, чтобы научная теория легла в основу романа. У Зиновьева именно так и было. Именно поэтому ему суждено было стать основоположником еще и нового жанра в литературе — социологического романа, социологической повести и даже социологического памфлета. В отличие от «социального романа», чему примеров множество в русской литературе, социологический роман излагает результаты научного социологического исследования, но в литературной форме, с использованием традиционных литературных приемов и средств. Более того — средства научного исследования — гипотеза, прогноз, и т. д. — используются как средства художественные.

Зиновьев практически во всех своих книгах излагает те или иные положения социологической теории. Обычно это занимает до 30 процентов всего текста повествования. Прочитав «Зияющие высоты», человек, даже не знакомый вовсе с социологией, узнал бы, что такое социальный индивид, руководство, коммунальность, группа, законы эволюции и т. д.

Персонажи его книг сами занимаются социологическими исследованиями. Они дают свои определения «Что такое донос?», «Что такое рабочее место?», «Что такое лозунг?», «Что такое коммунизм?» и т. д. Книга «Иди на Голгофу» в этом отношении классический пример пересадки социологической теории и практики на живую ткань литературного повествования. В романе «Живи» в главке «Национальный характер» есть такие наблюдения:

«От остановки до учреждения, где я работаю, иду с сотрудницей, которая является самым талантливым нытиком у нас в городе. Слег сослуживец с инфарктом в больницу. «Это разве инфаркт, — говорит она, хватаясь за место, где по идее должно быть ее сердце. — Мне бы такой «инфаркт», так я бы в соревнованиях по бегу участвовать стала. Вот у меня инфаркт, так инфаркт! Еще чуть-чуть, и я копыта откину!»

Эта женщина в такой форме выражает наше общее качество: мы гордимся тем, что живем хуже всех, что понесли громадные потери в сталинские годы и больше всех пострадали в войну. Мы гордимся тем, что нам и в будущем не светит ничего хорошего. Когда мы собираемся вместе, мы хвастаемся не успехами и приятностями, а неудачами и неприятностями. Это качество есть наша психологическая самозащита. У нас нет надежды изменить свое положение и иных средств защитить свои души от разрушающих их страданий».

Как правило, у героев социологических романов Зиновьева нет собственных имен. Либо есть построенные на игре слов узнаваемые псевдонимы. Мыслитель, Шизофреник, Хахель, Директор, Социолух, Портянкин, Невеста, Слепой, Гробыко, Горбатый, Сусликов... Скорее это — социологические категории, чем литературные персонажи, но вместе с тем — они герои романа.

Многие книги написаны у Зиновьева, как пьесы, только без перечня действующих лиц. Иногда он весьма щедро использует публицистику, целыми кусками вставляет в роман свои интервью. И, как ни удивительно, это ему удается сделать так искусно, что нить повествования не рвется, а литературная ткань не превращается в газетную полосу.

Далеко не всегда в романах Зиновьева есть четкий и последовательный сюжет в традиционном литературном смысле этого слова. Есть скорее сюжет социальный, связанный с тем или иным историческим периодом жизни советского общества с момента его зарождения до момента его краха. Только в «Глобальном человечнике» место действия изменено. Это — Запад. И весь роман посвящен раскрытию новой социологической категории, введенной Зиновьевым, — «западнизма». Это не означает, что прежде Зиновьев о Западе не писал. «Запад» — ведущая тема диалогов и монологов «Желтого дома», одного из лучших романов Зиновьева (он лично считает, что самого лучшего) об идеологии и идеологах советского периода, и «Гомо советикуса», и «Исповеди отщепенца».

Во многом композиционные решения романов Зиновьева были обусловлены тем, что начинать ему пришлось свой путь в литературу под неусыпным надзором КГБ, с которым писатель играл в весьма опасные кошки-мышки. Каждый раздел поэтому писался, как отдельная глава. А каждая глава, как отдельная книга. Нередко поэтому и впечатление от прочтения книг Зиновьева такое, что вы переходите не от книги к книге, а читаете продолжение. Действительно, такие книги, как «Гомо советикус», «Пара беллум», «Государственный Жених» и «Рука Кремля» должны были стать частями большого романа о действиях советской агентуры на Западе. Издатель посоветовал Зиновьеву издать эти книги по отдельности, а затем воедино их уже не собрал. Зиновьев задумал большую книгу под общим названием «Искушение». И туда должны были войти «Иди на Голгофу», «Живи», «Евангелие для Ивана», «Смута» и «В преддверии

рая». Но «В преддверии рая» Зиновьев писал по кускам, и они накапливались у издателя на Западе по мере их пересылки. Когда у него собралось около 40 печатных листов, он их издал, не дождавшись обработки их Зиновьевым.

Иначе произошло с работой над книгами «Русский эксперимент» и «Русская трагедия». В основу их легли наши беседы с Зиновьевым для «Правды», которые были изданы вместе с несколькими его интервью отдельной книгой под общим названием «Россия пост-коммунистическая» (1997 г.)

Вернувшись к ним незадолго до своего возвращения в Россию в 1999 году, Зиновьев основательно переработал эти публицистические куски в духе своего социологического романа.

Его классикой остаются «Зияющие высоты». Суть литературно-социологического метода Зиновьева видится в этом романе наилучшим образом. В отличие от многих критиков коммунизма, которые рассматривали советское общество как улей, муравейник, термитник, как колонию бессловесных роботов, либо рабов, Зиновьев показал, что это всего лишь частные случаи социального объединения, а само человеческое общество гораздо хитроумнее, грандиозней. Его структура дифференцирования куда сложнее. Он, в частности, пришел к выводу, что формы, с помощью которых надо описывать это общество, требуют такого математического аппарата, которого пока официально не существует. С помощью своего социологического скальпеля он отсекал все «ненужное». «Я рассматривал человеческое общество, — говорил он в одной из наших бесед, — отвлекаясь от того, что человек имеет какой-то свой внутренний мир. Я исходил из того, что человек имеет тело и мозг. Мозг — орган расчета и управления. А этот орган управления подчиняется определенным правилам. Это — предпосылки моей теории, которая и легла в основу «Высот».

Многие мои критики полагают, что я ходил и подсматривал, подслушивал, записывал все, что в нашем обществе происходит. И так якобы получились «Высоты», потом другие книги. Ничего подобного. Я вычислил это общество. Весь мой Ибанск — это город, который я извлек из своей головы».

В «Высотах» есть такой пассаж — «Ибанск выдумал Шизофреник в пьяном виде...». Независимо, конечно, от авторского замысла (Зиновьев утверждает, что у него такого не было) и выдумки, роман, конечно, возник на базе нашей советской реальности, легко узнаваемой в ежечувственности Ибанска.

Задача Зиновьева как литератора была весьма сложной. В силу тогдашних обстоятельств опубликовать хотя бы строчку своей социологической теории коммунизма он не мог. Принявшись за «Высоты», он столкнулся с другой трудностью — как в литературной форме изложить то, что он был лишен возможности сделать в научных публикациях. Его выручили сам материал «Высот» и природный юмор. Логическую схему постепенно вытеснил парадокс. Стройная социологическая теория воспринималась легко, потому что автор излагал ее играючи, перемежая шутками и анекдотами. Зиновьев впервые попал в поле зрения хранителей благонадежности еще в школьные годы, когда он создал конституцию школьной республики, в которой было записано, что в ней вводятся такие деньги, на которые ничего нельзя купить. В более поздние времена, в шестидесятые годы, уже будучи известным ученым, он стал одним из авторов гулявших по России «кухонных анекдотов», которыми наслаждалась интеллигенция, державшая всегда наготове фигу в кармане. К тому же как создатель анекдотов, афоризмов и популярных острот Зиновьев настолько овладел разговорным русским языком, что литературное повествование его, при всей строгой логике первоначальной схемы, оказалось на редкость живым и искрилось непревзойденным юмором, которому позавидовали бы и Гашек, и Ильф с Петровым, и Чапек. Без сомнения, его можно считать Салтыковым-Щедриным нашего времени. Но ни в коем случае — «советским Оруэллом». Этот сомнительный комплимент Зиновьев отвергает. «Я не воспринимаю Солженицына, — говорит он. — Я считаю его произведения фальси-

фикацией. Точно так же я не воспринимаю произведения Оруэлла, Платонова и Замятина. «Зияющие высоты» на Западе отнесли к разряду антикоммунистической литературы, но мой роман по сути был отрицанием всей антикоммунистической литературы, которая все сводит к более или менее примитивной идеологической схеме. А человеческое общество, как я всегда говорил, куда сложнее, хотя при его анализе и приходится прибегать к упрощениям...».

Критики не раз безжалостно обвиняли Зиновьева в том, что герои «Зияющих высот» бездуховны, схематичны и даже ходульны. Он и сам это признает, но без всякого сожаления:

«Да, в Ибанске духовности нет. Ее не было в предпосылках. Я намеренно это исключил. И вот почему. Для того чтобы построить теорию, нужно производить упрощения. Если упрощения не произведешь, ни одного шага вперед не сделаешь. Я много лет изучал советское общество, используя свою систему упрощений. Поясню. Развитие общества идет не по прямой линии, а напоминает кардиограмму, где есть взлеты, падения. Но для того чтобы все это доказать, надо многое исключить. Человека при анализе его места в обществе и самого того общества, в котором он живет, приходится сводить к такому существу, у которого есть тело и органы управления. Органы управления должны производить определенные действия, чтобы тело сохранялось. Однако, исключая что-то из анализа, упрощая определенные явления, либо просто не принимая их во внимание, я не собирался их полностью игнорировать, а собирался постепенно включать их в рассмотрение. Еще студентом я написал работу о «Капитале» Маркса под названием «Метод восхождения от абстрактного к конкретному». «Высоты» были во многом абстрактны. Я решил, что новые аспекты, идя от абстрактного к конкретному, от простого к более сложному, я буду рассматривать в других книгах. Так появились «Желтый дом», «Светлое будущее». Однако с 1985 года в стране стали происходить известные всем перемены, и мое внимание переключилось на исследование не столько природы коммунизма, сколько его кризиса...» Элементы традиционного романа, однако, тоже пришли к Зиновьеву, как бы он от этого сам не отрешивался. Роман «Живи» — тому живой пример. В нем есть страницы, по силе не уступающие Достоевскому. И есть та же боль за униженного и оскорбленного маленького человека.

Крах Советского Союза заставил Зиновьева радикально пересмотреть свои творческие планы. Во Франции вышла его «Смута», которую он написал еще до 1985 года. Ему пришлось в 1992 году дописать вторую часть о реальной смуте в посткоммунистической России.

* * *

Наверное, меньше всего враги и поклонники Зиновьева ожидали, что на закате лет он вернется из Германии в Россию. И не просто доживать свой век, а активно работать.

Характернейшей его чертой было то, что он никогда не работал на кого-то, по чьему-либо заказу, в силу конъюнктуры. Единственным его заказчиком была Истина. И с этого обычно начинаются все трудности Александра Зиновьева. Трагедией гигантов мысли всегда было одиночество — им, как правило, не с кем поговорить на равных. Зиновьев, при всей своей общественной активности и готовности занять трибуну любого приличествующего его имени форума, никак не вписывается в привычные «тусовки» российской интеллигенции и, несмотря на явное предпочтение левого фланга нашего политического класса, ни к коммунистам, ни к новым эс-декам так до конца и не примкнул, а стоит от них как бы поодаль. В любом случае он всегда предпочитал позицию оракула положению чьего-либо идейного наставника. Его охотно приглашают, но за ним не идут. Причин тому много. Книги его, за редким исключением вроде «Катастрофки», слишком сложны для того, чтобы стать бестселлерами. Его научные труды — это, как правило, отрицание всего, что наработано до него его учеными коллегами, что уже само по себе ставит Александра Александровича вне всяких школ и кафедр. А Зиновьев-три-

бун слишком бескомпромиссен и безжалостен в любом диспуте, в том числе и по отношению к тем, кто вроде бы выступает на его стороне. В результате, вернувшись на Родину, он с горечью убедился в истине «Нет пророка в своем отечестве» на собственном опыте. И дело вовсе не в недостатке публикаций, интервью, публичных выступлений. Здесь как раз в последнее время, особенно в России, показатели рекордные. И тем не менее к своему 80-летию он пришел непонятым — ни в России, ни на Западе — и, увы, — по-настоящему нигде не востребованным. Финал достаточно логичный для гражданина государства из одного-единственного человека. Но от этого — не менее трагичный.

Зиновьев не вступил ни в какую партию в России. Хотя объективно он ближе всего сейчас к КПРФ. По парадоксу среди ее нынешних лидеров есть и те, кого безжалостно высмеял Александр Александрович в своих книгах. И те, кто так или иначе причастен к его преследованиям в советские времена. Теперь они поднимают Зиновьева на шит, приглашают его на все свои торжественные мероприятия, а заодно без зазрения совести и без всяких ссылок на автора активно переписывают его труды целыми страницами в свои статьи, брошюры и даже... диссертации. Жизнь-то продолжается даже в оппозиции, которая по сути своей — тоже один из неотъемлемых элементов власти.

Зиновьев как-то сказал мне в одном из наших интервью: «Я — идеальный коммунист. Такой, каким был Павка Корчагин...» Идеальные коммунисты для прагматичных лидеров «лево-патриотической» оппозиции духовно чужеродны, но на данном историческом этапе — необходимы уже потому, что КПРФ сохранила название коммунистической партии. Другое дело, что по своей политической и идеологической сути партия настолько радикально трансформировалась, что адекватный политический термин для нее подобрать нелегко. Это в первую очередь касается обращения КПРФ к «русской идее» и столь неоднозначно понимаемому и толкуемому явлению, как патриотизм. Объективно патриотом может быть каждый россиянин, независимо от его убеждений. Тут вся гамма — от ультралевых до ультраправых, от коммунистов до монархистов. И что самое опасное — патриотами называют себя и российские фашисты. Ленин в таких случаях идейной неразберихи советовал, прежде чем объединиться, решительно размежеваться. К сожалению, руководство КПРФ этот завет Ильича решительно проигнорировало. Лидеры КПРФ и НПСР не нашли ничего лучшего для подтверждения своего «патриотизма» в его постперестроечном варианте, чем формулу архи-реакционера графа Уварова «Самодержавие, православие, народность». Конечно, Уварова отредактировали в духе времени — вместо самодержавия пошла «державность», вместо православия — «духовность», а вместо «народности» иногда вставляют... «соборность». Точно так же приспособили к коммунизму «русскую идею», «геополитику», «евразийство», попа в рясе и черта в ступе. Таких идеологических коктейлей из ультранационализма, мракобесия и марксизма на левом фланге никогда и нигде не изготовляли. Будь жив Ленин, он наверняка назвал бы «архиреакционными», как и графа Уварова, те старорусские девизы, что украшают ныне идеологические скрижали КПРФ и НПСР. Результаты этой идейной неразборчивости не замедлили сказаться. Что стоит одно дело входившего во фракцию КПРФ генерала, взявшего на вооружение весь лексикон «Черной сотни». Дошло до того, что первое время на совместных митингах и съездах КПРФ и НПСР, в том числе в Колонном Зале, открыто продавалась неонацистская литература вместе с «Протоколами сионских мудрецов». На одном из шествий патриотической оппозиции у здания бывшего КГБ на Лубянке установили трибуну, на которой встали плечом к плечу лидеры КПРФ, НПСР и тот самый думский генерал, с которого только что взяли слово публично не произносить слово «жид». А напротив той трибуны, на постаменте снесенного толпой в августе 1991-го памятника Дзержинскому, какие-то личности бойко торговали антисемитской и откровенно нацистской литературой. Я видел это своими глазами. Да и я ли один — российское телевидение с большим удовольствием по несколько раз в день показывало первомайские шествия КПРФ

и НПСР, в которых своими ударными колоннами дефилировали под погромными плакатами «патриоты»-черносотенцы. Ну что может быть у этих людей общего с Павками Корчагиными прошлого и настоящего, которые в коммунизм верят и ныне истово, незабвенно? И тем не менее это факт, что они идут с коммунистами сегодня в одних протестных колоннах. В чем здесь дело? Только ли в недостатке идейной закалки и идеологической безграмотности? Думаю, что все проще. Беспринципность лидеров патриотической оппозиции в том, что касается выбора союзников, лишь подтверждает тот факт, что и старыми и новыми партаппаратчиками двигала и двигает не идея, а практическая потребность. Как и Бурбоны, они ничего не поняли и ничему не научились. Главная их нынешняя потребность — возвращение к власти. Сегодня им, выбившимся в лидеры из нижних и средних звеньев рухнувшей партийной иерархии, нужны всемирно известные имена и авторитеты, готовые бескорыстно пожертвовать собой и своими трудами ради светлого будущего и работать на них «за идею». Бывшие середнячки, а ныне лидеры, по старой традиции ЦК КПСС привлекают к написанию своих «трудов» и речей лучшие умы российской левой, а теперь уже и правой, и на этом блестящем фоне умудряются скрыть свою собственную серость, пошеголять в мундирах фельдмаршалов от идеологии. Им нужны армии, ударные батальоны. Им нужны знамена, идолы от коммунизма, все еще популярного в России. Им нужны герои, которые пойдут за них воевать, чтобы они вновь вернулись к власти. Именно эти идеалисты без оглядки идут в бой и на любое опасное для жизни либо репутации противостояние с властью, с олигархами, с их, лидеров, соперниками по части лидерства. Ну, а уж если на их стороне такой «боевой слон», как Зиновьев, то тут, право, впору трубить победу.

С ними ли все же Зиновьев? Уверен, что он знает им цену и ни на минуту не впадает в иллюзию по поводу их идейной и интеллектуальной ценности, хотя иной раз и появляется вместе с ними на митингах и соответственно — на экранах телевизоров. Ибанск вечен, однако, хотя он вроде бы и не существует и его никто не населяет, кроме художественных образов.

Я нахожу ответ, ключ все в той же фразе Зиновьева о государстве из одного человека. Из этого государства он прибыл в качестве посла в их страну, над которой до сих пор развевается тот самый красный флаг. Но для него он символизирует коммунистический идеал, а для них — власть в коммунистическом государстве, где они диктовали законы жизни, в том числе и таким Гулливерам мысли, как Зиновьев. Они, правда, странно сойдутся на том, что не винят Сталина в совершенных им преступлениях против всех народов СССР. Зиновьев, когда-то ненавидевший Сталина, в 90-х годах вдруг стал говорить о нем восторженно, полагая, что иначе как железной рукой Россию было не поднять, а Гитлера — не победить. Что это? Прозрение или aberrация исторического зрения? Откровение или ошибка, от которой и лучшие мыслители не гарантированы? Конечно, оправдывая задним числом Сталина, Зиновьев проявил себя, как «настоящий коммунист», который готов признать даже насилие во имя светлого будущего. (С известной сентенцией Достоевского — никакое светлое будущее не стоит слезы ребенка — коммунисты старой закалки расходятся самым решительным образом.) И все же, как историческую необходимость, он оправдывает сталинский террор лишь отчасти. Главным для него был и остается научный анализ природы коммунизма и отчасти — поведенческих норм российского населения. Свой личный опыт и свои очевидные страдания той поры, когда ему приходилось скрываться от погони чекистов, Зиновьев отбросил, как частность. Точно так же он считает себя вправе поступить и с эмоциями бывших диссидентов и их единомышленников, когда они пытаются убедить его, что тиранство Сталина — непростительно и оправдать его никак невозможно. Он отвечал, что с его точки зрения это тиранство было единственным способом спасти ту условно-коммунистическую систему (Марксом там и не пахло), которая сложилась в СССР к моменту прихода Сталина к власти. Вывод этот, с его точки зрения, объективен, и ничего взамен Зиновьев нам предложить не может. А коммунизм получился в России

именно таким, каким он был, потому что так сложилось и другим он быть не мог. Не важно — нравится его вывод диссидентствовавшей интеллигенции или нет.

Как ученый, он безжалостно объективен. Помню, в 1996 году во время одной из наших встреч в Париже, почти физически устав от его пессимистических прогнозов по поводу будущего России, я спросил его, а нельзя ли все же дать читателям нашей газеты хоть какую-то надежду и пусть небольшой, но заряд оптимизма? Реакция Зиновьева была мгновенной: «Нет, нельзя. Ибо это противоречило бы научному анализу нынешнего положения страны и ее ближайших перспектив». Конечно, он был, как всегда, прав. В России тогда только что переизбрали президентом Ельцина. Какие уж там могли быть перспективы! И все же человек жив надеждой, пусть даже не имея на это никаких оснований. «Ты мне друг, но истина мне дороже» — это для римлян, не для русского человека.

Русский человек крепок в вере и доверии к своим лидерам до тех пор, пока добропорядочность иерархов и вождей не вызывает у него никаких сомнений, пока вера — правильная, а царь — настоящий, т. е. справедливый. Одной из величайших ошибок Романовых было Кровавое воскресенье 1905 года. Царь не понял, что к нему шел народ со своими прошениями под хоругвями и с иконами, т. е. шел с добром, с верой в то, что царь-батюшка выслушает челобитчиков и поможет. Сотни людей были убиты и ранены. Но главное — смертельная рана была нанесена вере в царя. Последовавшее вскоре за этим приближение к царской семье еретика — хлыста Распутина довершило начатое 9 января 1905-го. Русское общество пришло к выводу, что веру в России опоганили на высшем уровне и с этого российского Олимпа власти, виновные в таком поругании, должны были быть изгнаны, что и произошло во всем трагизме ликвидации монархии и впоследствии самой августейшей семьи. Лозунг «За Веру, Царя и Отечество» в массовом сознании распался на составные, и восстановить его в прежнем единстве не могли более ни добровольческие армии, ни помогавшая им Антанта. Как и всегда, русские ухватились за спасительную константу по имени Отечество, приняв иную веру и иного царя. По сути, коммунизм и был воспринят в народе как вера, а лидеры компартии — как правопреемники уничтоженной царской семьи. В коммунистические идеи народ вникал не более глубоко, чем в постулаты православия и в смысл ежедневных молитв, а уж тем более — всех тонкостей литургии. Но лидерам до поры верили, за ними шли, не раздумывая. Хрущев вбил первый гвоздь в гроб коммунизма, когда дискредитировал Сталина. Это все равно было, что разрушить авторитет Христа в глазах верующих. Последующие советские лидеры довершили начатое Хрущевым. Но если Брежнев, а тем более Андропова еще побаивались и по-своему уважали, то над Черненко и Горбачевым откровенно смеялись. К тому же «минеральный секретарь» запретил пить водку... После этого Советской власти было уже никак не устоять.

Ленин не случайно говорил после революции, что коммунизм у нас в России поняли едва ли десять человек, да и те поняли его неправильно. В нашей коммунистической партии было 18 миллионов человек в момент развала СССР. Когда ее запретили, они все спокойно разошлись по домам. Никто не протестовал и не строил баррикады. За идею страдать никто не пошел. Самые честные и идейные просто стрелялись. Для большинства ни запрет КПСС, ни развал первого в мире коммунистического государства не стал личной трагедией. Дело здесь прежде всего в том, что новая вера — марксизм-ленинизм — существовала только в пропаганде. В реальной жизни марксизма и в помине не было. Да и КПСС не была политической партией. Она была организацией политической и государственной власти. Когда сменилась власть, ее просто не стало. Во многом тому причиной — мировоззрение нации, сформировавшееся еще в дохристианский период. Русские были и остались язычниками и по своему менталитету так и не вышли из первобытной общины, из того самого духовного Ибанска, который куда древнее Киева и Москвы. Даже столь продвинутый, как теперь говорят, писатель, философ и логик Александр Зиновьев тосковал на Западе по... коллективу.

По ходу веков русские меняли даже не столько веру, сколько идолов. Их социальная организация адаптировалась к каждому новому социальному строю чисто формально, но природы своей не меняла. Не случайно Маркс считал, что Россия будет последней страной, где сумеет победить коммунизм. Маркс ничего не понял в русском менталитете. Он не мог догадаться, что коммунизм здесь победил еще в Великом Новгороде с его вече и первыми прообразами Советов.

Русские коммунисты понимали это нутром, если не в теории. Следуя теории Маркса-Энгельса, они проспали революцию 1905 года. Проспали и Февральскую революцию 1917-го. И только с третьего захода — в ходе подготовки октябрьского переворота — они уяснили, что в массы нести «марксову теорию» — нелепое дело. (Кстати, такого рода попытки блестяще высмеял Шолохов в «Поднятой целине» в знаменитой сцене изучения словаря иностранных слов Нагульновым в паре с дедом Шукарем). Гениальность Ленина и его ближайших соратников заключалась в том, что они сделали ставку на использование в России атавизмов первобытного общинного коммунизма, где все должно было делиться по справедливости, и в ходе подготовки октябрьского переворота, и впоследствии — при коллективизации. Именно с помощью этой далеко не теоретической базы был физически уничтожен прежний правящий класс вместе с обслуживавшей его интеллигенцией. А затем и справный мужик был уничтожен. Россия стала царством пролетариев в полном смысле этого слова. У них не осталось ни корней, ни церкви. Сознание их было чисто, как *tabula rasa*, и там можно было начертать любой лозунг, и он был бы воспринят со стопроцентной гарантией как откровение и как руководство к действию. Традиция коллективного мышления, всегда существовавшая в русской сельской общине («как мир решит») сработала на руку большевикам и в ходе дальнейшего «строительства социализма». Отсюда — публичные процессы, всенародные обсуждения и осуждения, культ вождя и все, что было с этим связано. В определенной степени все были равны, ибо были равно нищими. И тем не менее ощущение этого равенства было поистине опьяняющим и по-своему плодотворным. Зиновьев как-то сказал мне: «Да, мы были нищими. Мы жили в ужасных условиях, впроголодь, а то и во вшах. Но нам дали возможность постичь Канта и Гегеля в подлиннике. Советская власть совершила величайшую в истории культурную революцию, и это ее достижение — неоспоримо». По парадоксу вещей именно эта культурная революция и погубила Советскую власть. И Зиновьев — тому живое подтверждение. Человек, познавший Канта и Гегеля даже в переводе, не сможет признать за духовного вождя невежественного партократа любого ранга — а они у нас были невежды на подбор — Хрушев, Брежнев, Суслов, Черненко, и т. д. Интеллигенты в первом поколении воспроизводили интеллигентов во втором поколении и в третьем. И чем прочнее утверждалась русская и мировая культура в привилегированной прослойке потомков крестьян и пролетариев, тем активнее эта среда производила диссидентов. В бытовом восприятии все диссиденты в СССР воспринимались как антисоветчики и агенты Запада. Лишь начав работать во Франции, я стал понимать, что эти наши «антисоветчики» в большинстве своем были искренне озабочены прежде всего тем, как эту нашу Советскую власть улучшить и очеловечить. Среди них были и предшественники нынешних демократов, и последовательные марксисты вроде Роя Медведева и Петра Абовина-Егидиса. Остается лишь сожалеть, что в партийных верхах не захотели делить с «какими-то» диссидентами монополию на истину. Но вот когда Советский Союз рухнул и распался, они стали лучшими авторами «Правды». Не было более язвительных критиков беловежского сговора, российских демократов и лично Ельцина, всего созданного ими режима, чем Александр Зиновьев, Владимир Максимов (лидер «Антикоммунистического интернационала» и главный редактор журнала «Континент», издававшегося в эмиграции), Мария Розанова (главный редактор парижского русского журнала «Синтаксис», жена А. Синявского), Андрей Синявский (он вошел в историю

под псевдонимом Абрам Терц, как первый советский диссидент, осужденный за свои убеждения), Абовин-Егидес и другие...

Владимир Емельянович Максимов сказал мне незадолго до своей смерти: «Дело, Владимир, не в идеологии. Дело — в греховной сущности человеческой». Не эта ли сущность превратила вчерашних ярких коммунистов в не менее ярких демократов и защитников капитализма. Имена их известны. Ельцин, Назарбаев, Ниязов, Бразаускас, Алиев, Шеварднадзе — это на уровне Политбюро и ЦК КПСС, и сотни, тысячи рангом ниже. А ведь это все равно, как если бы после октября 1917-го великие князья стали членами ЦК РКП(б). Но те не стали и даже не предпринимали такого рода попыток — не позволяли вера и честь. В партийной аристократии СССР таких понятий, очевидно, просто не существовало.

Зиновьев отрицает за идеологией право на существование, полагая, что это категория не научная, а скорее мистическая, своего рода идейный инструмент профессиональных манипуляторов массовым сознанием. Его критическое восприятие коммунизма и социально-исторического феномена Советской власти во многом кардинально расходится с традиционными и неомарксистскими оценками, будучи ближе к подходу Герберта Маркузе, автора книги «Советский марксизм», и даже во многом, особенно в «Зияющих высотах» — к критике Джорджа Оруэлла («Скотный двор» и «1984-й»), хотя сам Зиновьев никакого духовного родства ни с американским идеологом «новых левых», ни с Оруэллом не признает. Подобно Маркузе и Оруэллу, Зиновьев пришел к критике коммунизма слева, а не справа. Но в отличие от них он не отрицает коммунизм, не хоронит его, а утверждает, говорит о необходимости исторической реабилитации коммунизма, что среди современных философов непопулярно. В государстве из одного человека, однако, о всеобщем признании никогда не беспокоились. Зиновьев публично утверждает, что коммунистическая практика была слишком кратковременной для того, чтобы судить о реальном потенциале коммунизма вообще и Советской власти в частности. С его точки зрения, еще ничего не потеряно. Надо просто подождать, пока история сделает еще один круг и пока человечество помудреет.

В этом подходе куда больше зрелого анализа, чем наивности мечтателя либо веры адепта. Хотя есть и то, и другое, и третье. Объективно всеобщее потребление — идеал демократов — тупиково уже потому, что бездуховно, равно как и лозунг «Обогащайтесь!». Запад как раз через детей из обеспеченных семей повторяет историю радикализации российских дворян и разночинцев — они ищут духовности, возможности послужить своему народу и всему человечеству, идут «в народ» и современные народники. Мальчики из благополучных европейских и американских семей зачитываются Бакуниным и Кропоткиным, а в последнее время все чаще — и Зиновьевым, их кумирами становятся батька Махно, Че Геварра и, увы, даже Бен Ладен. Можно, конечно, на этом фоне порассуждать о феномене *deja vu*. Но дело не в том, что история повторяется. Повторяется, только на более высоком и теперь уже глобальном уровне, поиск социальной справедливости, возможностей бескорыстного служения людям, в чем для последовательных левых и есть высший смысл коммунизма. То, что лидеры современных компартий этот смысл донести до масс не умеют — это их беда, а не беда коммунизма. Очевидно, чтобы прийти к этой истине, потребуется и смена лидеров, и смена поколений, и неизбежная при этом трансформация коммунистического учения. Вот тогда, может быть, коммунизм получит снова тот исторический шанс, который, по Зиновьеву, был в России упущен.

То, что Зиновьев сегодня в России — это большая удача. И не только для ее интеллектуальной элиты — для всех россиян. Хотя этот факт мы еще даже не осознали. Это придет потом, позже.

Зиновьев был и остается русским человеком, русским писателем, русским ученым и интеллигентом в лучшем смысле всех этих высоких слов. По своей воле он не покинул бы Россию никогда. И как только появилась возможность вернуться сюда, он вернулся, чтобы быть со

своим народом. В своем Ибанске. Может быть, он его и выдумал от начала до конца. А может быть, он только сейчас и обретает реальные черты. В любом случае с помощью Александра Зиновьева Ибанск стал вечным городом.